

# Ретроспектива

*Б. М. Фирсов*

## КАК ДОБИВАЛИСЬ ПОСЛУШАНИЯ СОЦИОЛОГИИ

Я согласен с теми, кто считает, что появление социологии 60-х годов, как и ее внутреннюю противоречивость, определили три источника: "оттепель", наличие элементов либерального мышления, обозначившийся спрос на социологическое знание в пробуждавшемся обществе.

"Оттепель" освободила общественные науки от многих сталинских догм. Какое-то время в нее верили. Но партия сумела удержать народ, страну, основные институты общества в повиновении. Спектр дозволенного, хотя и утратил монохроматизм, остался чрезвычайно узким. Потребовалась еще одна эпоха (период застоя), чтобы осознать историческую обреченность государства "развитого социализма".

Либеральное мышление тех лет посеяло зерна "протогласности" и обозначило — пусть штрих-пунктирной линией — контуры социальных перемен, породило структуры новой ментальности, ориентированные на изменение общества, отказ от догм, поиски истинного знания, постановку реальных проблем. Проклюнувшийся плюрализм был робким, благонамеренным, строго следующим командам партийно-государственного светофора. Но все же носители либерального мышления выполнили свою миссию. Ссылаясь на социологические "штудии" 60-х годов, скажу о том, что сам факт интервьюирования или анкетного опроса, оглашения социологических данных знаменовал прямую коммуникацию, равноправный диалог с населением, обращение к рядовым людям за их мнением о самых разных сторонах жизни. Контакты социологии с населением ликвидировали монополию власти на право знать и определять по своему усмотрению потребности и интересы жителей страны.

**ФИРСОВ Борис Максимович** — доктор философских наук, профессор, директор Санкт-Петербургского филиала Института социологии РАН.

Реакция на этот прорыв со стороны партии была неоднозначной. Социология, зарегистрированная под псевдонимом "конкретные социологические исследования", получила право на жизнь в качестве одного из помощников партии. Поскольку профессиональные социологи не огорчали ЦК КПСС диссидентскими выходками, им было разрешено собираться под крышей ИКСИ АН СССР. Но едва партийно-государственный корабль взял курс на стагнацию, как был немедленно усилен контроль за программами и результатами социологических исследований. При этом власть совершила крупный просчет: боясь ослабить господство идеологии, она отказалась от возможности знать о фактическом состоянии дел в стране. Когда возник едва ли не панический страх перед возможностью наступления "пражской весны" в советских краях, помощника партии стали воспринимать как потенциального оппонента в силу генетической склонности к разномыслию.

Здесь мы подходим к ответу на вопрос о том, возможен ли процесс порождения социологического знания при тоталитарном режиме или "полноценная социология" по своей природе связана с демократическим устройством общества? Следует отличать отношение власти к науке от процессов внутри науки. Социология в СССР в 60-е годы возникла из потребности общественной жизни. Появление первых социологических коллективов в Москве, Ленинграде, Новосибирске, первых исследователей-одиночек — спонтанный результат рефлексирования коллективным и индивидуальным научным сознанием сдвигов в социуме. Это — реакция на изменения социальных условий и новые социальные вызовы. Последовавший затем этап самоорганизации социологов страны на базе Советской социологической ассоциации (которая существовала с конца 50-х годов) был естественным завершением спонтанного возникновения точек роста социологической науки. Институционализация науки (в данном случае ее псевдоним не имеет значения) имела место в 1968 году.

Социология 60-х годов по своему духу была демократической. Большинство социологических публикаций тех лет содержало серьезное социально-критическое начало. Парадоксально, но для этого не требовалось усиленно демонстрировать инакомыслие. Страна начала жить по новым правилам, все больше становилось людей, пытавшихся понять свое место в обществе, равно как и само общество. Социология предлагала новый язык в подходе к социальным явлениям, она обозначала проблемы вопреки официальной доктрине "беспроблемности" развития и уже этим обеспечивала себе широкую аудиторию, готовую к тому, чтобы ее просвещали.

Вместе с тем социология не была оппозиционной наукой и активно соучаствовала в строительстве зрелого социализма, попав в плен нормативного знания. Полученное, казалось бы, строгими научными методами (сразу отбросим имевшие место попытки прямых политических спекуляций) это рациональное в своей основе знание во многих случаях быстро утрачивало свою обоснованность. Оно разрушалось и превращалось в социальную иллюзию всякий раз, когда социологи пытались предлагать выводы, опираясь на императивы должного. Не сразу и не тогда, 30 лет назад, а только недавно стал понятен вред этой благонамеренности, пронизанной мечтами о близком и счастливом будущем. С большей или меньшей старательностью мечтаниям предавались едва ли не все обществоведы. Пишу об этом не ради запоздалого покаяния. Не хочу окатиться в толпе, неистово топчущей ногами прошлое.

Соблазнение будущим — важнейшая черта советского периода нашего государства. И я не вижу принципиальной разницы между известным историческим посулом Н.С.Хрущева, согласно которому поколения людей, здравствовавших в 60-е годы, должны войти в ворота коммунистического рая, и послеоктябрьскими программами и декретами большевиков.

Судьбе было угодно, чтобы я находился в зале в минуты произнесения Н.С.Хрущевым многообещающих слов. Не ошибусь, если скажу, что делегаты и гости съезда отнеслись к этим словам с энтузиазмом, который быстро стал доминантой умонастроений в стране, он был поддержан политической, культурной и научной элитой. Другое дело, когда и у кого начали исчезать оптимизм и вера, уступая место трезвому, реалистическому взгляду на судьбы страны и народа. Если ослепление будущим было в значительной мере массовым, коллективным, то прозрение — индивидуальным.

Берус полки книгу, написанную мною в 1977 году. Читаю: "Социализм приближает время, когда общество обретет способность реализовать потребности людей, по верному замечанию К.Маркса, "во всей полноте человеческих проявлений жизни". И далее: "Подтверждением сказанного являются социальные задачи современного советского общества. Резко ускорить темпы производительности труда; увеличить масштабы и сократить время внедрения научных достижений во все сферы общественного производства; обеспечить расширенные и одинаковые возможности для получения образования и для доступа к достижениям культуры всем слоям населения; выровнять стандарты городского и сельского быта; ускорить процесс преодоления различий между физическим и умственным трудом; устранить противоположность между рабочим и свободным временем, между трудом и потреблением, объединив их как различные сферы жизнедеятельности человека и развития его способностей — вот лишь некоторые из целей развития, — писал автор, — воплощение которых стало возможным лишь на определенной, достаточно высокой стадии прогресса" (Фирсов Б.М. Пути развития средств массовой коммуникации. Л.: Наука, 1977. С. 34). Не стану повторять все имена моих учителей — ученых, возродивших социологию на пепелище сталинской эпохи. Скажу лишь, что и их имена в те годы можно было найти среди убежденных толкователей Коммунистического манифеста и Программы КПСС.

Итак, при активном содействии общественных наук в массовое сознание вносилась искаженная и неполная картина мира и человека. Она обладала свойствами транквилизатора. Было бы неправдой говорить сейчас, что она была лишена привлекательности. Хотя надежды на лучшее будущее, ставшие лейтмотивом многих социологических исследований, как правило, не сбывались. Более того, по прошествии сравнительно короткого времени они начинали расходиться с реальностью. Общество как бы догадывалось, что к нему пытаются приложить искусственные модели, и потому, чувствуя коварство социального исследователя, начинало уходить в другую, часто непредсказуемую сторону, пыталось избежать навязываемых обстоятельств. В истории, отмечал петербургский писатель Я.Гордин, существует явление, которое можно назвать "инстинктом сохранения больших общностей". В его основе лежит врожденная способность сопротивляться любым попыткам заставить социум двигаться неестественным путем. Именно здесь следует искать причину того, что многие разделы социологического знания оказались несос-

тоятельными. Это знание попало под влияние им же порожденных социальных иллюзий.

Не умаляя ни на йоту действительных заслуг и достижений социологии 60-х годов, я бы рискнул назвать два ее неотмоленных исторических греха. Первый — ослепление образом государства. Гипноз и слабоволие обществоведческой мысли, включая социологическую, под влиянием государства, чьи иллюзорные добродетели и фальшивое человеколюбие служили шитом для маскировки абсолютной и жестокой власти, является фактом недавнего прошлого. Идеология подавила в значительной мере независимость научного мышления. Оно не избегло опасностей мифологизации, когда поддерживало веру в нерушимое единство партии и народа, в монолитность семьи народов, населявших страну. Грех второй — примирение с социальным порядком. Большинство профессиональных социологов не опускалось до уровня примитивной идеологической манипуляции массовым сознанием, но компромисс с властью не оставался без последствий. Социология оказалась втянутой в процесс утверждения униформизма общественной жизни и удержания людей в границах повиновения, в страхе перед капитализмом. В целом исследовательская парадигма была ориентирована, скорее, на стабильность, чем на изменения, отдавала предпочтение монизму в сравнении с плюрализмом, тогда как по смыслу требовалось изымать человека из полей коллективного опыта, помогать ему осознавать собственное своеобразие и неповторимость в толпах предшественников и современников. Попытки вырвать человека из плена социального времени и пространства, объяснить смысл индивидуального существования стали отличительной чертой социологии сегодня. Перечисленные выше дисфункции социологического знания имели место вопреки намерениям большинства социологов.

Это о грехах. Однако едва власть усвоила, что социологическая наука может заявить себя и серьезным оппонентом, как вступили в действие механизмы контроля и регулирования профессиональной деятельности. Поскольку стремление удерживать народ в повиновении было едва ли не безграничным, его следовало распространить на все слои и группы. Достаточно вспомнить исторические встречи руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства, чтобы понять определенный универсализм контроля за любым видом творческой деятельности. Свобода творческого воображения первой вступала в конфликт с аппаратно-бюрократическим антиинтеллектуализмом, и ее ограничению всегда уделялось особое внимание. Превентивные меры, обеспечивавшие послушание интеллектуалов, сейчас могут показаться реликтовыми, но их следует напомнить тем, кто начал свою жизнь в науке, не зная запретов на свободу выражения мысли.

Самым мощным был механизм искажения и разрушения позитивного знания. Он опирался на государственную цензуру. Здесь заслуживают упоминания "Перечни сведений, запрещенных для публикации в открытой печати". Главным их назначением в период стагнации стала не столько охрана государственных тайн, сколько сознательная деятельность по сокрытию от населения страны, от мировой общественности реальных противоречий развития советской системы; растущей озабоченности людей ухудшающимся положением страны; кризисных явлений в различных сферах; падения авторитета власти, лидеров партии и государства. В несколько приемов была закрыта значительная часть социальной статистики. Быстро стало расти число табуированных про-

блем (преступность, здоровье нации, проявления национальной розни и др.). Данные о половозрастной структуре (по итогам Всесоюзных переписей) были закрыты под предлогом того, что их публикация могла облегчить потенциальному противнику подсчеты численности вооруженных сил и мобилизационных ресурсов в случае агрессии. Строжайший запрет существовал на публикацию любых сведений, в первую очередь социологических, оценивающих деятельность высшего звена руководителей страны. В итоге на страницах научных и массовых изданий реальность оказывалась представленной в тщательно отредактированном, стерилизованном виде. Торжествовала не истина, а государственная ложь.

Говоря о цензуре, нельзя забыть об ограничениях доступа к зарубежной научной литературе. Легендарные спецхраны, особые штампы для маркировки поступавшей по почте научной печатной продукции — все это помнится. В Ленинграде одно время существовал "кооператив", основанный И.С. Коном и В.А. Ядовым, к участию в котором пригласили и меня. Мы на собственные средства покупали и отправляли в США по три экземпляра отечественных книг по социологии и смежным дисциплинам. В обмен получали согласованное количество американских книг по интересовавшей каждого проблематике. На такой обмен следовало получить одобрение Ленгорлита. Для этого мы составили письменные заявления, согласно которым при поступлении литературы "ограниченного пользования" цензор получал от нас разрешение (?) пересылать книги в спецхран библиотеки АН СССР. Собственно, правила отнесения книг и журналов в этот разряд или к числу запрещенных для чтения кем-либо, кроме цензоров, держались в глубокой тайне. О них можно было догадываться. Скажем, достаточно было одной ссылки на А. Солженицына или на других "врагов", как книга уходила в спецхран. Абсурдность этих правил понимали сотрудники БАН. В легких случаях они разрешали изъять несколько опасных страниц и унести книгу домой. В начале 70-х годов мне пришла очень ценная книга. В моем присутствии с помощью лезвия безопасной бритвы (ножниц в спецхране не нашлось) сотрудница вырезала статью о массовой коммуникации в Китае с критикой доктрины коммунистической пропаганды. Приведу ее данные: Yu. Frederick. T.C. Campaigns, Communication and Development // The Process and Effects of Mass Communication. Ed. by W. Schram and D. Roberts. Chicago: University of Illinois Press, 1972. P. 836-860. Такова была цена за возможность пользоваться остальными материалами книги. По-моему, из подобных экспонатов следовало создать специальную экспозицию для музея социологии 60-х годов.

Еще один стенд воображаемого музея можно было бы отвести активистам органов цензуры. При разгонах отдельных научных сообществ официальная цензура опиралась на услуги научных сотрудников, как правило, придерживавшихся консервативных позиций. Отрицательная рецензия, содержащая к тому же обвинения в отступлении от канонов марксистской теории, была средством сведения счетов с оппонентом по профессии. Подчеркну добровольный характер этих, с позволения сказать, услуг. Доброхоты, порочившие товарищей по профессии, еще живы. Они по-прежнему верят в свою историческую правоту.

Самым главным и могущественным цензором была партия вкупе с партийным аппаратом. Этот тандем отличало полное единство целей в том, что касалось борьбы с разномыслием. Официальная доктрина утверждала, что у нас научная мысль не контролируется, а так называемое

литование связано исключительно с защитой государственных секретов и тайн. Всякие ссылки на фактическое вмешательство цензуры запрещалось. "Вы нас подведете, если скажете, что адресованные Вам замечания исходят из Ленгорлита", — говорили автору сотрудники издательства "Наука" в тех случаях, когда под нажимом цензуры приходилось делать купюры в тексте, снижать до шепота тон и без того безобидных замечаний по поводу проблем жизни общества, убирать статистику, сквозь призму которой бдительные цензоры угадывали опасности дискредитации советской системы. Poleмика исключалась. Фамилии цензоров были секретом. Ленгорлит стремился к тому, чтобы "не оставлять пальчиков": повеления цензуры автор узнавал от редактора. Финансовой ответственности за решение пустить тираж книги под нож или рассыпать набор органы Главлита не несли. За убытки платило издательство "Наука". Начальник Ленгорлита в 70-е годы Б.Марков демонстрировал в таких случаях особую изворотливость, Чтобы замаскировать вмешательство цензуры, он направлял рукопись в обком вместе с погромной рецензией. И тогда за черную работу принимались инструкторы отдела науки обкома. Было бы проще всего считать, что Ленгорлит эксплуатировал простодушные работников обкома, считавших, что все средства хороши для обеспечения линии партии. Партийный и цензорский аппараты были "сиамскими близнецами". Разъединить их даже хирургическим способом было невозможно,

Главлит в Москве отличался большей гибкостью, чем его губернские звенья. Иначе не увидели бы света многие оригинальные книги российских авторов и переводы с иностранных языков, создавшие базу профессиональной социологии в нашей стране. Цензура была далеко не единственным механизмом для того, чтобы держать социологию (общественные науки, науку в целом, равно и культуру, искусство) на коротком поводке. "Залитовать" текст для публикации книги или статьи вовсе не означало, что этим снимаются все препятствия. Книга могла вызвать возражения "наверху", у нее могли оказаться недоброжелатели в научной среде, Наконец, сам автор мог оказаться далеко не безупречным с точки зрения анкетно-биографических данных. Все это, конечно же, наносило социальный ущерб, травмировало ученых. Рекорд государственной глупости и невежества, достойный быть занесенным в книгу Гинесса, — судьба книги И.С.Кона "Введение в сексологию", "залитованной" в 1979 году и увидевшей свет лишь через десять лет.

Все общество было пронизано цензурными отношениями формального и неформального характера, Говоря иначе, цензура была многоликой, по верному определению кинорежиссера А.Симонова (Симонов А. Лики цензуры. Монолог Председателя Правления Фонда защиты гласности // Журналист. 1993. № 5. С. 2-5). Я воспользуюсь тезисами применительно к социологии.

Первый лик — цензура начальника, в нашем случае директора социологического института. К чести многих директоров, настоящих ученых, людей просвещенных и честных, они брали на себя цензорские роли поневоле. Защищая идеологии входила в условия игры директора с государством и ведомством. Дело менялось, если присутствовали карьерные мотивы, боязнь потерять высокую должность, которая открывала путь для избрания в состав АН СССР. В таких случаях цензорские обязанности выполнялись с особым рвением. Не берусь судить о бывшем директоре Института социально-экономических проблем АН СССР И.Сигове как экономисте, но социолог он был никакой, что не мешало ему навья-

зывать свои ограниченные представления об обществе профессиональным социологам под знаменем борьбы с буржуазной социологией.

Второй лик — корпоративная цензура. В нашем случае — позиция ученого совета академического института. А.Симонов называет ее "инстинктом стаи", который проявляет себя в виде усредненной, клишированной точки зрения на то или иное явление социальной жизни. В разные периоды позиции ученых советов обществоведческих институтов колебались в широком диапазоне между полюсами консерватизма и радикализма.

Третий лик — цензура издательства и научного журнала. Она была известна и поддавалась расшифровке. Не считаться с ней было нельзя, и потому издательские портфели "Науки" и журнала "Социологические исследования" не содержали слишком рискованных предложений. Недовольные этой политикой имели несколько легальных выходов: они могли обходить острые углы, обращаться к критике буржуазной социологии, прибегать к иносказаниям, метафорам, подтексту, помня, однако, что бдительные цензоры специализировались на распознавании "неконтролируемого подтекста".

Четвертым ликом цензуры была самоцензура. Царское самодержавие, самовластие большевиков приучили целые поколения российских интеллигентов к эзопову языку, клатентной коммуникации, которая с трудом поддавалась официальному разоблачению. В основе такого вида самоцензуры лежит не только стремление избежать прямых и дерзких вызовов в адрес власти, но и честная научная и гражданская позиция, желание отстоять ее в условиях идеологического давления, сохранить независимость мышления. Еще один тип самоцензуры, хотя и имеет глубокие исторические корни, но окрашен в советские цвета. Я бы назвал его научным доносом, активно самопорождавшимся в условиях тоталитарного государства. Едва ли не в каждом академическом институте находились люди, отличавшиеся повышенной революционной бдительностью, особым нюхом на антимарксистскую крамолу. Как правило, малообразованные и примитивно мыслящие, они выражали себя в борьбе с буржуазной социологией и ее апологетами внутри своего же сообщества. Эти "волонтеры идеологической инквизиции" нанесли немалый вред своими разоблачениями. Теперь, когда Россию пытаются представить как империю зла, а русских — в качестве основных его носителей, полезно напомнить, что "инквизиция" была многонациональной. Например, разгром социологической лаборатории университета в Тарту, руководимой Ю.Вооглайдом, произошел по инициативе социологов коренной национальности.

Обобщая, можно сказать, что цензура и самоцензура были частью машины политического и идеологического контроля, которая неотступно следила за всем, что происходило внутри социологии. Важно было добиться социальной благонадежности социологии и социологов. С этой целью партия неусыпно пеклась о социологических кадрах и той их части, которая отвечала за формирование политики исследований и ее реализацию. Даже должности старших научных сотрудников были предметом заботы партийного органа. Такое усердие проявлял Ленинградский обком КПСС. Кандидатуры ученых, представивших диссертации на соискание степени доктора наук, ВАК и институты согласовывали с отделом науки ЦК КПСС, Согласование могло иметь разные последствия,

В конце 60-х — начале 70-х годов началось постепенное переключение социологии на обслуживание партии. Внешне обоснованная и даже

полезная акция (сблизить социологию с высшими целями управления развития общества и государства) обернулась селекцией социологического сообщества. Появились социологи "первого" и "второго" сорта. Дифференциация по степени политического доверия девальвировала, обесценивала талант, ум, общенаучные заслуги, авторитет в глазах социологического сообщества, международное признание. Определяющим становилось мнение аппарата о том или ином ученом. Распорядительство это часто заходило слишком далеко.

Ю.Л.Левада за "серьезные идеологические ошибки", допущенные при публикации курса лекций по социологии (1969 г.), подвергся многочисленным наказаниям: его лишили звания профессора, уволили из академического института, запретили преподавать. Итог более чем печален: вынужденная изоляция ученого от профессионального сообщества, длившаяся в течение почти двадцати лет.

Другой brutальный пример — репрессии против ленинградского социолога А.Н.Алексеева (начало 80-х годов). Решив стать рабочим, он не преследовал целей иных, чем поиски истины. Его намерение провести участвующее наблюдение на одном из предприятий было поддержано АН СССР. Последовавшее затем исключение из партии, конфискация личных научных архивов, запрет на публикацию работ и другие санкции могли бы человека с менее сильной волей поставить на грань катастрофы и выживания.

Третий пример — административный произвол, допущенный при преднамеренном увольнении В.А.Ядова из ИСЭП АН СССР (1983 год). Социолог с мировым именем был вынужден оставить руководство социологическим отделом. Дирекция института предложила Ядову "для прокорма" работу в Ленинградском отделении Института истории естествознания и техники.

Ко всем этим случаям был в полной мере причастен партийный аппарат, считавший себя вправе лишать ученых не только должностей, но и гарантий для профессиональной самореализации. Что касается имевшего место выделения партийной социологии в относительно автономную сферу, то эта мера отрицательно сказалась на развитии социологического мышления. Здесь социологию принудительно изолировали от служения интересам более широким, чем цели КПСС. Предмет исследований начал постепенно сворачиваться, коль скоро он ограничивался этой сферой. К тому же партийные органы ревностно охраняли результаты заказанных ими работ, за которые никогда никому не платили. В течение нескольких лет руководил системой изучения общественного мнения, созданной в интересах обкома КПСС. Отчеты об исследованиях направлялись только первым лицам. Обсуждения не практиковались. Реакция на данные об общественном мнении была специфической. Данные секретились, публиковать их было нельзя. Этим они не только утаивались от народа (населения Ленинграда), но и от ЦК КПСС. Ведь они могли, пологичеукрывателей, переступавших в подобных случаях каноны демократического централизма, представить город — колыбель революции, авангард технического прогресса и кузницу передового рабочего класса — в крайне невыгодном свете.

При составлении программ исследований общественного мнения не рекомендовалось идти в глубь проблем. Разрешалось, например, получить оценки удовлетворенности состоянием здравоохранения, но запрещалось спрашивать о том, нужны ли реформы здравоохранения, платная медицина. В этих ограничениях угадывался страх системы перед



истинной картиной. В итоге изучалось общественное мнение, лишенное права слышать себя. Право собственности на информацию было узурпировано партийным органом в целях сохранения status quo.

Говоря об ограничениях, которые связывали социологию, нельзя забыть славные органы государственной безопасности. Их участие в контроле за этой наукой внесло серьезный вклад в своеобразную систему наказаний и поощрений социологов, которая, конечно же, никогда не опиралась на законодательство. С помощью КГБ социологи были быстро поделены на "выездных" и "невыездных", "послушных" и "непослушных". Этими мерами часть ученых была принудительно отлучена от научного опыта других стран, от обмена научными идеями. На языке КГБ подобные меры назывались профилактическими. Их придумали лишь для того, чтобы не всякому открывать ворота из резервации советской социологии во внешний мир. Опасность оказаться в числе "невыездных", лишенных доверия органов КГБ, ограничение допуска к литературе часто были сильнейшим регулятором поведения ученых, побуждали поддерживать с властью и ее подручными лояльные отношения, не выходить за "красные флажки".

Органы КГБ вели сложные игры с социологическим сообществом и даже предлагали некоторым ученым стать агентами-осведомителями. Не надо думать, что профессия социолога — социального критика — содержала гарантии от соблазна принять эти предложения. Осведомители были, часто на добровольной основе, и я не предлагаю начать поиск агентов, публикацию разоблачительных документов, гражданские казни и прочее. Расскажу лучше простую историю о пребывании в стране Икс в качестве участника Всемирного социологического конгресса. Нас было четверо и жили мы вместе, занимая комнату в отеле. Трое из нас вели по вечерам обсуждение проблем советского общества, не редактируя мысли, но и не призывая к свержению советского строя. Четвертый (член-корреспондент Академии наук братской республики) хранил молчание, но никакого недовольства не высказывал. После конгресса все четверо вернулись домой. Прошла неделя-другая, и трое "разговорчивых" узнали, что четвертый "молчаливый" в письменной форме поделился мыслями, высказанными в его присутствии, с кураторами из центрального аппарата КГБ.

Мы не имеем права не рассказывать грядущим поколениям социологов об абсурдных сторонах существования социологии в условиях стагнации и несвободы. Наука в этих условиях была в значительной мере официальной. Отсюда противоречивость и даже вред квазисуществования внутри этой государственной, если так можно выразиться, научной дисциплины. В первую очередь по названной причине оказалось невосстребованным знание, которое социология производила. Одновременно оказались невосстребованными таланты и люди, считавшие, что страна и ее великий народ заслуживают лучшей исторической участи и судьбы. Попытки придать социологии официальный характер привели к тому, что сквозь данные социологических исследований все время проступали черты общества, которого в реальности не было. Картина общественной жизни, воссоздаваемая трудом исследователей, оставалась неполной.